

Азбука
PREMIUM

К Н И Г И
ГЕНРИ МИЛЛЕРА
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «АЗБУКА»

Замри, как колибри
Мудрость сердца
Под крышами Парижа
Книги в моей жизни
Книга о друзьях
Тропик Рака
Черная весна
Тропик Козерога
Сексус
Плексус
Нексус

ГЕНРИ МИЛЛЕР

Нексус



Санкт-Петербург

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Coe)-44
М 60

Henry Miller
Originally published under the title NEXUS,
3rd part of the trilogy THE ROSY CRUCIFIXION
Copyright © 1960 by Henry Miller. The Estate of Henry Miller
All rights reserved
Published in Russian language by arrangement
with Lester Literary Agency

Перевод с английского Ларисы Житковой

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Ильи Кучмы

ISBN 978-5-389-12414-1

© Л. Житкова, перевод, примечания, 2017
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство АЗБУКА®

От переводчика

«Нексус» (в переводе с латинского «Узы»; 1959) — последняя книга трилогии Генри Миллера «Распятие розы» и заключительный том его аутогонического шестикнижия, «Книги жизни», которую он начал «Тропиком Рака» и писал без малого тридцать лет, пока не изжил свое «великое распятие» — роман с Джун Мэнсфилд (Марой и Моной в его книгах).

Автор «Нексуса» на четверть века старше автора «Тропика Рака», приехавшего в Париж «изучать порок» и задумавшего «оставить шрам на лице вселенной».

Ему под семьдесят. Он живет в хижине-«шкатулке» в своих «американских Гималаях», в своем «личном Шангри-Ла» — Биг-Суре, ставшем для его читателей и почитателей своеобразной «меккой». У него двое детей. Четвертая жена. Он — легенда. Он больше никому ничего не доказывает. Он просто дописывает свою *повесть*.

Все та же зима, все тот же Бруклин, все тот же Бродвей, по которому на сей раз он проносится на гоголевской тройке, — и радость грядущего освобождения, того мига, когда конец смыкается с началом, когда после распятия наступает воскресение: стигматы зарубцованы, прививка новой жизни получена — и на кресте распускается роза.

И в самом деле, Селифан давно уже ехал зажмуря глаза, изредка только потряхивая впросонках вожжами по бокам дремавших тоже лошадей; а с Петрушки уже давно невесть в каком месте слетел картуз, и он сам, опрокинувшись назад, уткнул свою голову в колено Чичикову, так что тот должен был дать ей щелчка. Селифан приободрился и, отшлепавши несколько раз по спине чубарого, после чего тот пустился рысцой, да помахнувши сверху кнутом на всех, примолвил тонким певучим голоском: «Не бойся!» Лошадки расшевелились и понесли, как пух, легонькую бричку. Селифан только помахивал да покрикивал: «Эх! эх! эх!», плавно подскакивая на козлах, по мере того как тройка то взлетала на пригорок, то неслась духом с пригорка, которыми была усеяна вся столбовая дорога, стремившаяся чуть заметным накатом вниз. Чичиков только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «черт побори всё!» — его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не успевает означиться пропадающий пред-

мет, — только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны. Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро, живьем, с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямицк: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а привстал да замахнулся, да затянул песню — кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход — и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух.

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, всё отстают и остаются позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится, вся вдохновенная Богом!.. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливаются колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства.

Н. В. Гоголь. Мертвые души

Гав! Гав-гав! *Гав! Гав!*

Лаю в ночи. Лаю, лаю... Зову — не дают ответа. Скулю — не откликается даже эхо.

«*Каким же хочешь быть Востоком: Востоком Ксеркса или Христа?*»

Один — наедине с экземой мозга.

В кой-то веки один. И это здорово! Только совсем не так, как я ожидал. Вот побыть бы наедине с Богом!

Гав! Гав, гав!

Закрыв глаза, вызываю ее образ. Вон он, маячит во тьме — маска, выплывающая из морской пены: *bouche*¹ Тиллы Дюрьё в форме охотничьего лука, ровные белые зубы, темные от туши глаза, веки поблескивают жирными синими тенями, копна непослушных волос, черных, как эбеновое дерево. Актриса с Карпатских гор и островерхих крыш Вены. Рожденная, как Венера, из двумерной глади бруклинских мостовых.

Гав! Гав-гав! *Гав! Гав!*

Я кричу, но всем слышится только шепот.

Мое имя — Исаак Прах. Я на пятом небе Дантова Рая. Твержу, как Стриндберг в бреду: «Не все ли равно, один ты у нее или у тебя есть соперник? Какое это имеет значение?»

С чего вдруг на ум приходят эти странные имена? Всё однокашники из старой доброй альма-матер: Мортон Шна-

¹ Рот (*фр.*).

диг, Уильям Марвин, Израиль Зигель, Бернард Пистнер, Луис Шнайдер, Кларенс Донахью, Уильям Оверенд, Джон Куртц, Пэт Маккефри, Уильям Корб, Артур Конвиссар, Салли Либовиц, Френсис Глантли... Ни один из них так и не выпрямился в полный рост. Изглажены из главной книги. Задушены, как гадюки.

Где вы там, пацаны?

Не дают ответа.

Уж не вы ли это, уважаемый Август, выступаете из мрака? Точно: Стриндберг — Стриндберг с парой пробивающихся на лбу рогов. *Le cosu magnifique*¹.

В иные счастливые времена — когда? в каких краях? на какой планете? — ходил я, помнится, от стены к стене, приветствуя одного за другим всех старых своих друзей. Леон Бакст, Уистлер, Ловис Коринт, Брейгель Старший, Боттичелли, Босх, Джотто, Чимабуэ, Пьеро делла Франческа, Грюневальд, Гольбейн, Лукас Кранах, Ван Гог, Утрилло, Гоген, Пиранези, Утамаро, Хокусай, Хиросигэ — и так до Стены Плача. Да, и еще Гойя с Тёрнером. Каждому было чем поделиться. Но особенно — Тилле Дюрьё с ее вызывающе чувственным ртом и темными, как лепестки розы, губами.

Стены теперь пусты. Но даже если бы они были увешаны шедеврами, я бы все равно не смог ничего разглядеть. Все поглотила тьма. Я, как Бальзак, живу среди воображаемых картин. Рамы и те воображаемые.

Исаак Прах — из праха рожденный и в прах возвращающийся. Прах к праху. Добавим еще кодицилл в память о прошлом.

Анастасия, она же Хегоробору, она же Берта Филигри с озера Тахо-Титикака, принадлежащая к Императорскому царскому дому, временно находится под наблюдением в клинике для душевнобольных. Она легла туда по собственной воле — проверить, все ли в порядке у нее с головой. Савл лает в бреду, в полной уверенности, что он —

¹ Великодушный рогоносец (*фр.*).

Исаак Прах. Мы заперты снегопадом в дешевых мебели-рашках с отдельной раковиной и двумя односпальными кроватями. Время от времени вспыхивает молния. Граф Бруга, эта всеми обожаемая кукла, покоится на бюро в окружении яванских и тибетских божков. У него плотоядный взгляд сумасшедшего, жадными глотками осушающего ночной горшок. Его шевелюра из крученых лиловых ниток увенчана миниатюрной шляпкой в богемном духе, приобретенной по случаю в «Галерее Дюфайель». За спиной Бруги — корешки отборнейших книг, которые Стася оставила нам на хранение перед отправкой в психбольницу. На книгах слева направо значится: «Императорская оргия», «Подземелья Ватикана», «Сезон в аду», «Смерть в Венеции», «Анатэма», «Герой нашего времени», «О трагическом чувстве жизни», «Словарь Сатаны», «Ноябрьские ветви», «По ту сторону принципа удовольствия», «Лисистрата», «Марий-эпикурец», «Золотой осел», «Джуд Незаметный», «Таинственный незнакомец», «Питер Уиффл», «Цветочки», «*Virginibus Puerisque*»¹, «Королева Маб», «Великий бог Пан», «Книга чудес света, или Путешествия Марко Поло», «Песни Билитис», «Неизвестная жизнь Иисуса Христа», «Тристрам Шенди», «Горшок золота», «Черная бриония», «Корень и цветок».

Единственная лакуна — розановская «Метафизика пола».

Я нашел клочок оберточной бумаги (из мясной лавки), на котором рукой Анастасии выведено следующее (очевидно, цитата из одной из ее книг): «Этот странный мыслитель Н. Федоров, русский из русских, тоже будет обосновывать своеобразный анархизм, враждебный государству».

Покажи я эту бумажку Кронски, и он тут же помчится в дурдом, чтобы предъявить ее в качестве доказательства. Доказательства чего? А того, что Стася в абсолютно здравом уме.

¹ «Для мальчиков и девочек» (лат.).

Вчера, что ли? — да, вчера, около четырех утра, выйдя к метро на поиски Моны, я высмотрел не кого-нибудь, а именно Мону под ручку с ее дружкой-рестлером Джимом Дрисколлом, неторопливо бредущих сквозь завесу гонимого ветром снега. Глядя на них, можно было подумать, что они собирают фиалки на медовых лугах. Не замечая ни снега, ни льда, ни шквальных порывов северного ветра с реки, не страшась ни Бога, ни человека. Идут себе и идут — смеются, болтают, воркуют... Вольные, как внешние жаворонки.

Чу! Жаворонка песнь звенит, всходя на небеса...

Какое-то время я следовал за ними, слегка поддавшись их заразной беспечности. Затем вдруг решил сделать круг и свернул налево, в сторону апартаментов Осецки. Хотя лучше сказать — «клетушек» Осецки. Конечно же, у него горит свет и пианола тихо наигрывает *morceaux choisis de*¹ Дохнаньи.

«Аве вам! милейшие вши!» — подумал я и пошел дальше. Поднимался туман и тянулся к каналу Гованус. Должно быть, таял полярный лед.

Вернувшись домой, я застал Мону за туалетом: она накладывала крем на лицо.

— Где это ты пропадаешь, скажи на милость? — вопрошает она тоном обвинителя.

— А сама-то ты давно пришла? — парирую я.

— Несколько часов назад.

— Странно. Готов поклясться, что меня не было всего минут двадцать. Может, я стал лунатиком и гулял во сне? Как это ни смешно, мне пригрезилось, что я видел, как ты шла в обнимку с Джимом Дрисколлом...

— Ты не болен, Вэл? По-моему, у тебя жар.

— Нет, только пар. Галлюцинация, в смысле.

Она трогает мой лоб, щупает пульс. По внешним показателям все в норме. Это ее озадачивает. Зачем же тогда

¹ Избранные произведения (*фр.*).

выдумывать все эти небылицы? Чтобы просто ей досадить? У нас что, других забот мало? Стася в психушке, платежи просрочены. Мне бы следовало проявлять больше рассудительности.

Я бросаю взгляд на будильник и показываю на пальцах: шесть часов.

— Знаю, — говорит Мона.

— Так, значит, это не тебя я видел сейчас на улице?

Она так на меня смотрит, будто я на грани помешательства.

— Ничего страшного, радость моя, — щебечу я. — Должно быть, это я с пьяных глаз — просто всю ночь пил шампанское. Теперь-то я точно уверен, что это была не ты. Это было твое астральное тело. — Пауза. — Кстати, у Стаси все нормально. Я как раз сегодня разговаривал о ней с одним из интернов...

— Ты?..

— А что? Мне захотелось сделать что-нибудь полезное, вот я и решил навестить ее, разузнать, что да как. Отнес ей кусок русской шарлотки.

— Тебе надо поспать, Вэл, — ты жутко вымотался. — Пауза. — Если хочешь знать, почему я так поздно пришла, тогда слушай, я все тебе расскажу. Я только что от Стаси. Мы расстались три часа назад. — Тут она загоготала — или, может, раскудахталась? — Нет, лучше завтра. Это долгая история.

К ее вящему изумлению, я ответил:

— Не утруждайся — я уже в курсе.

Мы погасили свет и залегли в постель. До меня доносился сдавленный смех Моны.

В качестве легкого щелчка ей на сон грядущий я прошептал: «Берга Филигри с озера Титикака».

Часто после сидения над Шпенглером или Эли Форм я не раздеваясь плюхался в постель и, вместо того чтобы размышлять о древних культурах, погружался в лабиринтный мир лжи и фабрикаций. Похоже, ни та ни другая не

способны говорить правду, даже когда дело касается таких простых материй, как посещение сортира. Стася, в сущности, правдивая душа, приучилась лгать в угоду Моне. Даже эта ее феерическая история о том, что она — незаконнорожденный отпрыск династии Романовых, не была лишена доли истины. В отличие от Мониных, Стасины фантазии никогда не бывают целиком сотканы из лжи. К тому же, если ткнуть ее носом в собственное вранье, она не будет ни закатывать истерик, ни гордо удаляться «на ходулях». Нет, она лишь расплывется в широкой ухмылке, которая, постепенно смягчаясь, превратится в милую улыбочку нашалившего ангелочка. Бывают моменты, когда мне кажется, что со Стасей можно поговорить начистоту. Но стоит мне почувствовать, что время пришло, как Мона встает между нами, словно самка, защищающая своих детенышей.

Одна из особенно странных лакун в наших доверительных беседах — а порой у нас возникали нескончаемые и внешне довольно откровенные разговоры-пиры, — так вот, одна из этих бесчисленных черных дыр приходится на детство. В какие игры они играли, с кем, где, — остается глубокой тайной. Будто они прямо из колыбели выпорхнули в женство. Ни единого упоминания о каком-нибудь друге детства или о веселых дурачествах; ни слова о любимой улице или скверике, где они играли. Я спрашивал в лоб: «Вы умеете кататься на коньках? А плавать? А на деньги когда-нибудь играли?» Ну да, конечно, о чем разговор! И то они умеют, и это, и много чего еще. Или они хуже других? И тем не менее ни Мона, ни Стася никогда не позволяли себе хотя бы на миг переключиться на прошлое. Не было случая, чтобы они ненароком обмолвились о каком-нибудь странном эпизоде или необыкновенном переживании из детства, как обычно бывает в оживленной беседе. Правда, изредка нет-нет да и проскочит упоминание о том, как однажды та или другая сломала руку или вывихнула ногу, — но где? при каких обстоятельствах? Я снова и снова пытаюсь вывести их на тему детства — мягко, тер-

пеливо, как, должно быть, загоняют кобылу в стойло, но все впустую. Детали наводят на них тоску. Не все ли равно, когда, что и где произошло? Ладно, тогда *сподлиця*, с изнанки! В надежде уловить хотя бы слабый проблеск или лучик узнавания я перевожу разговор на Россию или Румынию. И тоже весьма искусно: начинаю с Тасмании или Патагонии и только потом, окольными путями, подбираюсь к России, Румынии, Вене и двухмерным пространствам Бруклина. Они, словно ни сном ни духом не подозревая о моей затее, с жаром подхватывают разговор о неведомых краях, включая Россию и Румынию, но так всё подают, будто услышали о них от заезжего чужестранца или вычитали в путеводителе. Чуть более коварная и изобретательная Стася может даже сделать вид, что подбрасывает мне ключ к разгадке. Выдумает, к примеру, несуществующий эпизод «из Достоевского» и пересказывает мне его, полагаясь либо на мою слабую память, либо на то, что даже при самой хорошей памяти я не могу помнить каждый из бесчисленных эпизодов его многотомных творений. Почему я был так уверен, что она меня дурачит и это вовсе не Достоевский? Да потому, что у меня великолепная память на *ауру* прочитанного. Я в принципе не могу не распознать фальшивку «в духе» Достоевского. Однако, чтобы вывести Стасю на чистую воду, я даю понять, будто припоминаю рассказанный ею эпизод: киваю головой, смеюсь, поддакиваю, хлопаю в ладоши — все, что ее душеньке угодно, но так и не признаюсь, что давно ее раскусил. Хотя нет-нет да и укажу ей — все в той же игривой манере — на какой-нибудь пустяк, который она либо упустила, либо переврала, а если она будет настаивать, что «так у Достоевского», я еще и поспорю, подробно аргументируя свою точку зрения. И все это время Мона сидит молча, вслушиваясь в каждое слово и не слишком разбирая, где правда, где кривда, но счастливая, как птичка, оттого что говорим мы о ее идоле, ее кумире, ее Достоевском.

Каким чарующе прекрасным, каким восхитительным может быть этот мир — мир лжи и фальсификаций, когда

больше нечего делать, нечего ставить на кон. А чем нам плохо — нам, праздным и веселым отъявленным лгунам? «Жаль, нет с нами Достоевского!» — воскликнет иной раз Мона. Будто он *выдумал* всех этих сумасшедших, все эти безумные сцены, которыми пестрят его романы. Выдумал, то есть забавы ради — или потому, что он по натуре дурак и враль. Невдомек им обоим, что *они и сами* могут быть теми же «сумасшедшими» персонажами — в книге, которую симпатическими чернилами пишет сама жизнь.

Так что нет ничего странного в том, что почти все, кого Мона обожает, попадают у нее в категорию «сумасшедших», а к кому испытывает неприязнь — в категорию «дураков». Это касается и мужчин и женщин. Правда, когда ей приспичит отвесить мне комплимент, она всегда называет меня дураком: «Какой же ты у меня дурачок, Вэл!» — подразумевая, что я достаточно объемён, достаточно сложен — во всяком случае, по ее меркам, — чтобы принадлежать миру Достоевского. А уж если она начнет разглагольствовать по поводу моих ненаписанных книг, то может до того договориться, что объявит меня вторым Достоевским. Жаль только вот, я не способен хотя бы изредка биться в эпилептическом припадке. А то бы давно заслужил соответствующую репутацию. К сожалению, есть одна деталь, которая портит всю картину: я как-то уж чересчур быстро «дегенерирую в буржуа». То есть становлюсь чересчур любопытным, чересчур мелочным, чересчур нетерпимым. Достоевский, по мнению Моны, никогда не проявлял ни малейшего интереса к «фактам». (Одна из этих патентованных полуправд, от которых зачастую просто коробит.) Но это еще что! Ее послушать, так Достоевский постоянно витал в облаках — или же зарывался в глубины. Он никогда не барахтался на поверхности. И уж подавно не совал нос в дамские сумочки, подыскивая имена и адреса для своих персонажей. Его не занимали ни перчатки, ни муфточки, ни плащи. Он жил исключительно за счет воображения.

У Стаси, надо сказать, имелось собственное мнение о Достоевском, его образе жизни, творческом методе. При

всех ее чудачествах она была все-таки чуть ближе к реальности и понимала, что кукол делают из дерева или папье-маше и одним «воображением» тут не обойдешься. Кроме того, хотя она и не вполне уверена, Достоевский тоже, наверное, был в чем-то «буржуа». Что ее особенно в нем прельщало, так это элемент чертовщины. Для нее Черт реален. Зло реально. У Моны же эта сторона его творчества не вызывала никаких эмоций. По ее мнению, зло у Достоевского было лишь одним из элементов его «воображения». В книгах ее вообще ничто не пугало. Да и в жизни тоже, если на то пошло. Потому, наверное, она и прошла сквозь огонь невредимой. Для Стаси же, когда ее посещали странные настроения, даже завтрак мог оказаться тяжким испытанием. У нее был нюх на зло — она могла учуять его даже в холодной овсянке. Черт в ее представлении был вездесущей тварью, ежесекундно подстерегающей свою жертву. Для защиты от злых сил она постоянно носила амулеты и обереги, а входя в незнакомый дом, осеняла себя какими-то знаменьями или бормотала заклинания на никому не ведомых языках. Мона только снисходительно улыбалась, усматривая в суеверии и предрассудках Стаси большой «изыск». «Это все ее славянство», — говорила она.

Теперь, когда больничное начальство препоручило Стасю заботам Моны, нам надлежало более трезво оценить ситуацию и обеспечить этому хрупкому созданию более здоровый, более спокойный образ жизни. По слезливым рассказам Моны, вызволить Стасю из заточения оказалось не так-то просто. Ее согласились отпустить только после долгих уговоров. Черт его знает, чего она наплела им о своей *подруге* — как, впрочем, и о самой себе. По прошествии нескольких недель мне удалось путем самых ловких ухищрений собрать воедино кусочки той головоломки, которую Мона соорудила из своей беседы с дежурным врачом. Не имея эта история продолжения, я бы сказал, что им обеим место в психушке. К счастью, я узнал, причем совершенно неожиданно, еще одну версию все той же бе-

седы, и не от кого-нибудь, а от самого Кронски. Чем был вызван его интерес к этому делу, я не знаю. В разговоре с медперсоналом Мона как пить дать сослалась на него как на семейного врача. Подняла его, небось, среди ночи телефонным звонком и со слезами в голосе стала упрашивать сделать что-нибудь для ее обожаемой подруги. Мне, во всяком случае, она ни словом не обмолвилась ни о том, что именно Кронски добился Стасиной выписки, ни о том, что Стася не была ни на чьем попечении, ни о том, что одного слова Кронски (больничному начальству) было бы достаточно, чтобы ее погубить. Последнее, конечно, перебор — очевидно, из желания набить себе цену. Я это так и воспринял. В действительности же, наверное, просто палаты были переполнены. Где-то в глубине души у меня незрело решение как-нибудь наведаться в госпиталь и выяснить, что произошло на самом деле. (Исключительно для протокола.) Но особой спешки не было. Я чувствовал, что нынешняя ситуация лишь прелюдия — или предвестие — того, что вскоре воспоследует.

Между делом я принялся, поддаваясь внезапным порывам, совершать набеги на Виллидж. Я таскался по всему кварталу, как бездомный пес. А иногда подходил к фонарному столбу и поливал его, задрвав заднюю ногу. *Гав-гав! Гав!*

Бывало, что я неожиданно для самого себя оказывался перед входом в «Чугунок», у перил, отгораживающих убогий газончик, слегка припорошенный в это время года почерневшим снегом, и стоял там, наблюдая за входящими и выходящими. Два ближайших к окну столика обслуживала Мона. Видно было, как она снует взад-вперед в мягком свете свечей и, не выпуская сигареты изо рта, подает еду, как расплывается в улыбке, приветствуя своих клиентов или принимая у них заказы. Изредка к столику присаживалась Стася — всегда спиной к окну, опершись локтями о столешницу и обхватив голову руками. Так она обычно и сидела, пока не расходились последние посетители. Тогда к ней подсаживалась Мона. Судя по ее мимике, между

ними неизменно завязывался оживленный разговор. Иногда они так хохотали, что чуть не загибались со смеху. Если бы в такой момент к ним попытался пристать кто-нибудь из их поклонников, они бы отмахнулись от него — или от нее, — как от пьяной мухи.

И о чем же таком увлекательном, таком уморительно веселом могли ворковать эти прелестные голубицы? Ответьте мне, и я в один присест напишу для вас «Историю государства Российского».

Как только становилось понятно, что они намыливаются уходить, я тут же давал деру. В легкой тоске и праздных мечтаниях я лениво петлял меандрами улочек, тыркаясь то в одно питейное заведение, то в другое, пока не добирался до Шеридан-Сквер. На одном углу площади, всегда освещенный в духе старых салунов, располагался «гадючник» старой кошелки Минни. Я знал, что сюда они точно в конце концов заявятся. Надо было только выждать время, чтобы в этом убедиться. Затем взглянуть на циферблат, прикидывая, что часа через два, через три хотя бы одна из них вернется в нашу берлогу. До чего же успокоительно было, бросив прощальный взгляд в их сторону, убедиться, что теперь они окружены заботливым вниманием. Успокоительно — слово-то какое! — сознавать, что они будут пользоваться покровительством милейших созданий, которые очень хорошо их понимали и в случае чего всегда могли прийти к ним на выручку. Спускаясь в подземку, я развлекался мыслями о том, что при незначительной перекомпоновке деталей костюма, наверное, даже самому опытному эксперту по бертильонажу трудно будет определить, кто у них юноша, а кто — девушка. Юноши были счастливы умереть за девушек, девушки — за юношей. Разве они не из того же самого вонючего ночного горшка, в котором обречена вариться каждая, даже самая чистая и непорочная душа? Такие они все дивные — вся шарага! И не зря у них принято называть друг друга «прелесть моя» — они ведь и впрямь «прелесть». А как они изобретательны в оболъщении, как *г-гациозны*! Все они прирож-

денные артисты, особенно юноши. Даже те пугливые заморыши, что прячутся по углам и тайком грызут ногти.

Неужели именно эта атмосфера любви и взаимопонимания, царившая в кругу Стасиных друзей, навела ее на мысль, что у нас с Моной не все гладко? Или она поняла это по той жестокости, с которой я «припечатывал» ее в минуты искренности и откровений?

— Ты не должен обвинять Мону в том, что она дурачит тебя и лжет на каждом шагу, — заявляет она однажды вечером.

Не представляю, как это нас угораздило остаться наедине. Вероятно, Мона должна была появиться с минуты на минуту.

— В чем же тогда ты прикажешь ее обвинять? — поинтересовался я, готовый к очередному сюрпризу.

— Мона не лгунья, и ты это знаешь. Да, она сочиняет, она передергивает, мистифицирует... но только потому, что так интереснее. Она считает, что, окружив себя ореолом лжи, будет больше тебе нравиться. Она слишком тебя уважает, чтобы лгать всерьез.

Я и не подумал отвечать.

— Неужели ты этого не понимаешь? — воскликнула она, переходя на повышенные тона.

— Честно говоря, нет.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что глотаешь все фанатерии, которыми она тебя потчует?

— То есть не смотрю ли я на все ее штучки как на невинные шалости? Нет, конечно!

— Но зачем ей тебя обманывать, если она так сильно тебя любит? Ведь ты же для нее все — буквально все! И тебе это прекрасно известно.

— Потому ты и ревнуешь?

— Ревную?! Это я-то?! Да меня просто бесит, что ты с ней так обращаешься, что ты так слеп, так жесток, так...

Я поднял руку, чтобы остановить поток обвинений, и спросил:

— Постой, чего ты добиваешься? Что это вообще за штучки?

— *Штучки? Штучки*, говоришь? — Она выпрямилась во весь рост с величественным видом разгневанной и до глубины души потрясенной царицы, не подозревая, что у нее расстегнута ширинка, из которой торчит хвост рубахи.

— Сядь, — сказал я. — Выкури еще сигарету.

Сесть она отказалась. Ей настоятельно требовалось вышагивать по комнате: туда-сюда, туда-сюда.

— Так что же для тебя предпочтительнее, — продолжал я, — думать, что Мона так любит *меня*, что просто вынуждена врать мне напрапалую? Или что она так любит *тебя*, что никак не наберется смелости мне в этом признаться? Или что *ты* так любишь ее, что тебе непереносимо видеть, как она страдает? Или нет, позволь-ка сначала полюбопытствовать, *знаешь ли ты, что такое любовь?* Ты хоть раз в жизни любила мужчину? Я знаю, что когда-то у тебя была собака, которую ты любила, еще я знаю, что ты занималась любовью с деревьями, — если, конечно, ты все это не выдумала. Я бы даже сказал, что тебе скорее свойственно любить, чем ненавидеть, *но!* — знаешь ли ты, что такое любовь? Предположим, ты знакомишься с двумя людьми, которые без ума друг от друга, и в одного из них влюбляешься сама, — на что в такой ситуации будет направлена твоя любовь: на укрепление их любви или на ее разрушение? Ладно, скажем иначе — может, так будет яснее. Допустим, ты воспринимаешь себя только как объект жалости, а тебе вдруг объясняются в любви, — насколько для тебя существенно, «он» это или «она», в браке этот человек или нет? То есть будешь ли ты — нет, сможешь ли ты довольствоваться только тем, чтобы принимать эту любовь? Или у тебя на первом плане чисто эгоистические соображения?

Молчание. Тягостное молчание.

— И еще, — продолжал я, — с чего ты взяла, что ты достойна любви? Или что тебя *вообще* любят? Или, если и любят, что ты способна ответить взаимностью? *Да сядь же, наконец!* Что ты все мельтешишь? Нам ведь и впрямь есть о чем поговорить. Глядишь, до чего-нибудь и догово-

рились бы. Докопались бы до истины в конце-то концов. А что, я бы не прочь. — (Стася бросила на меня изумленный, опасливый взгляд.) — Вот ты говоришь, Мона считает, что я все усложняю. Если быть предельно откровенным, то ничего я не усложняю. Взять хотя бы тебя — ты ведь вроде человек простой... цельная натура. Интегрированная, как сейчас говорят. Ты составляешь настолько прочное единство с самой собой и всем необъятным миром, что даже ложишься на обследование, чтобы лишний раз в этом убедиться. Я не слишком жесток? Смейся, смейся! Много кажется странным, когда все ставишь с ног на голову. Кстати, ты ведь не по своей воле легла в больницу, да? Ага, очередные Монины сказки! Еще бы я все это не заглотил: и крючок, и леску, и грузило! — я же не хотел навредить вашей дружбе. И вот теперь, когда ты с моей легкой руки оказалась на воле, тебе захотелось выразить мне свою благодарность. Угадал? Ты не желаешь видеть меня несчастным, тем более что живу я с близким и дорогим тебе человеком.

Стася хихикнула, хотя все в ней кипело от возмущения.

— Знаешь, если бы ты спросила, ревную ли я Мону к тебе, то, как бы мне ни противно было это признать, я бы ответил «да». Мне не стыдно сознаться, что для меня унижительно самая мысль о том, что человек вроде тебя может заставить меня ревновать. Кого-кого, а тебя я бы вряд ли выбрал себе в соперники. Морфодиты нравятся мне не больше, чем люди со сдвоенными пальцами. Я человек с предрассудками. *Буржуазный*, если угодно. Я никогда не любил собак, но и не испытывал к ним неприязни. Мне доводилось общаться с гомиками — умными, занятыми, талантливыми, неординарными, — но *жить* с ними я бы, честно говоря, не стал. Дело тут не в морали, как ты понимаешь, а в симпатиях и антипатиях. От некоторых вещей меня просто воротит. Самое печальное, мягко говоря, в том, что мою жену так сильно влечет именно к тебе. Смешно, да? Прямо как в романе. Даже как-то стыдно, чертовски стыдно... Я ведь о чем говорю? Ладно бы она завела

себе нормального мужика — раз уж ей так приспичило наставить мне рога, — даже самого занюханного, но чтобы *ты!*.. Почему, черт возьми?! Из-за этого я чувствую себя совершенно незащищенным. Меня коробит от одной только мысли о том, что кто-то может подойти ко мне и спросить: «А с *тобой-то* что не так?» Потому что с мужиком и впрямь должно быть что-то неладно — по крайней мере, так судит мир, — раз его жена вспылала страстью к женщине. Я уже черт знает сколько времени пытаюсь понять, что со мной не так — если со мной вообще что-то не так, — но пока безрезультатно. А ведь о женщине, согласишься, никто не скажет, что с ней что-то не так, если она в равной степени способна любить и другую женщину, и мужчину, с которым связана брачными узами. Никто не будет ее осуждать, если окажется, что она наделена необыкновенным даром любви и обладает редким запасом нежности, так ведь? А что, если у тебя, как мужа такой незаурядной особы, возникают сомнения относительно ее исключительной способности любить, что тогда? Что, если у мужа есть все основания полагать, что этот редкий дар любви — сплошной подлог и фикция, а все дело в подмене реальных событий мистификациями? И что жена, просто чтобы настроить мужа на соответствующий лад, довести его, так сказать, до кондиции, старается хитро и ловко запудрить ему мозги, сочиняя и выдумывая самые невероятные истории — невинные, разумеется, — о своем добрачном опыте с девицами. И ведь она ни за что прямо не скажет, что *спала* с ними, — а только намеками, исподволь, всегда исподволь будет подводить тебя к мысли, что, вполне возможно, случилось и такое. Но стоит лишь мужу — *мне* то есть — выказать страх или тревогу, и она тут же кинется все отрицать, будет утверждать, что это лишь плод *чьего-то* воображения, ну и так далее... Улавливаешь ход моей мысли? Или я тебя совсем уже запутал?

Стася, внезапно помрачнев, присела на край постели. Она бросила на меня пыливый взгляд, и тут на ее лице заиграла улыбка — сатанинская такая, знаете.

— Что ж, твоя взяла! Теперь ты и *мне* решил запудрить мозги! — воскликнула она. Слезы брызнули у нее из глаз, и она разрыдалась.

Как по заказу, в самый кульминационный момент появилась Мона.

— *Что ты себе позволяешь!* — набросилась она на меня прямо с порога и, обняв Стасю, стала гладить ее по волосам и утешать всякими ласковыми словами.

Умилительная сцена. Чересчур умилительная, чтобы меня разжалобить.

И вот развязка: Стасю ни в коем случае нельзя отпускать домой. Она должна остаться и как следует выспаться.

Стася в сомнении смотрит на меня.

— Конечно, конечно, — щебечу я, — в такую ночь и собаку за порог не выставишь!

Заключительным актом этой сцены — и, как оказалось, роковым — был выход Стаси в легком дымчатом пеньюаре. До полного совершенства ей не хватало только трубки в зубах.

Вернемся, однако, к досточтимому Феодору... Порой меня выводил из терпения их нескончаемый бред на тему Достоевского. Сам я никогда не старался показать, что *понимаю* Достоевского. Всего, по крайней мере. (Я понимаю его, как можно понимать родственную душу.) Да я и по сей день еще не прочел его целиком. У меня всегда была задумка приберечь кое-что для чтения на смертном одре — «на сладкое», так сказать. Я даже не уверен, читал ли я, к примеру, «Сон смешного человека» или знаю о нем понаслышке. Равно как и не вполне уверен, что точно знаю, кто такой Маркион и что такое маркионство. В Достоевском, как и в самой жизни, есть многое такое, что и должно оставаться тайной. Мне нравится думать о Достоевском как о человеке, окруженном непроницаемой аурой таинственности. Мне, например, никак не представить его в шляпе — вроде тех, в какие Сведенборг обряжает своих анге-

лов. Более того, мне всегда приятно узнавать, что о нем говорят другие, даже если их мнение для меня — пустой звук. Как раз намерен, листая свой блокнот, я наткнулся на одну цитату, которую выписал как-то по случаю. Вероятно, из Бердяева. Вот оно: «После Достоевского человек уже не тот, что до него». Чудненькое утешение болящему человечеству!

А вот этого уж точно никто бы не написал, кроме Бердяева: «У Достоевского налицо сложное отношение ко злу. В значительной степени может показаться, что он был введен в заблуждение. С одной стороны, зло есть зло, и оно должно быть изобличено и уничтожено. С другой стороны, зло есть духовный опыт человека. Это неотъемлемая часть человека. На своем пути человек может быть обогащен опытом зла, но необходимо понять это правильно. Человека обогащает не зло как таковое — его обогащает духовная сила, восстающая в нем для преодоления зла. Человек, говорящий: „Я предаюсь злу ради обогащения“, — никогда не обогащается — он гибнет. Но именно злом испытывается человеческая свобода...»

И еще одна цитата (опять же из Бердяева) — привожу ее просто потому, что эти слова на одну ступень приближают нас к Небу...

«Церковь не есть Царство Божье, церковь явилась в истории и в истории действовала; она не означает преобразования мира, явления нового неба и новой земли. Царство же Божье есть преобразование мира, не только преобразование индивидуального человека, но также преобразование социальное и космическое. Это конец этого мира, мира неправды и уродства. И начало нового мира, мира правды и красоты. Когда Достоевский говорил, что красота спасет мир, он имел в виду преобразование мира, наступление Царства Божьего. Это и есть эсхатологическая надежда».

За себя скажу, что если у меня когда и имелись какие-то надежды — эсхатологические или наоборот, то именно Достоевский их и убил. Хотя, пожалуй, лучше сказать: он

«свел на нет» те мои культурные устремления, что были заложены западным воспитанием. Вся же моя азиатчина, то бишь все монгольское во мне, как было, так и осталось нетронутым и будет таким всегда. Это мое монгольское начало не имеет ничего общего ни с культурой, ни с индивидуальностью — оно представляет собой коренную сущность, чьи соки восходят к некоей главной ветви векового генеалогического древа. Подобно океану, вбирающему в себя впадающие в него реки, этот бездонный колодец поглощает все хаотические элементы как моей собственной природы, так и моего американского наследия. Как ни странно, будучи по рождению американцем, я понял Достоевского — или, скорее, его героев и мучившие их проблемы — гораздо лучше, чем смог бы понять, будь я европейцем. Английский язык, по-моему, больше подходит для того, чтобы передать дух Достоевского (если приходится читать его в переводе), нежели французский, немецкий, итальянский или любой другой неславянский язык. К тому же американская жизнь на всех ее этажах — будь то жизнь гангстеров или интеллектуалов — имеет, как это ни парадоксально, удивительно много общего с многоплановой обыденной русской жизнью романов Достоевского. Можно ли пожелать лучшего испытательного полигона, чем столичный град Нью-Йорк с его слипшейся почвой, на которой любая извращенная, подлая, бессмысленная идея приживается и разрастается, как сорняк? Надо лишь вспомнить о тамошней зиме, о том, что значит испытывать голод, одиночество, отчаяние в этом лабиринте однообразных улиц, составленных однообразными домами, населенными однообразными людьми, напичканными однообразными мыслями... Однообразие, помноженное на бесконечность!

Хотя миллионы американцев никогда не читали Достоевского да и слыхом о нем не слыхивали, все они, тьмы и тьмы их, сошли прямиком со страниц его книг и ведут такую же странную «лунатическую» жизнь здесь, в Америке, какой живут герои Достоевского в России его вооб-

ражения. И если вчера еще можно было сказать, что они живут человеческой жизнью, то завтра их мир примет характер и черты куда более фантазмагорические, чем всякое и каждое из творений Босха. Сегодня они ходят бок о бок с нами, никого, разумеется, не пугая своим допотопным видом. Некоторые так и продолжают следовать своему призванию: кто проповедует Евангелие, кто свежует трупы, кто ухаживает за душевнобольными — будто ничего и не произошло. Им и невдомек, что человек уже не тот, что был прежде.

Ох уж этот вечный колотун, пробирающий до мозга костей, чуть выйдешь на улицу в студеную зимнюю рань, когда железные балки примерзают к земле, а молоко в бутылке вздыбливается, как ножка гриба! Одно слово — полярный день: в такую стужу и самое глупое животное не высунет носа из берлоги. А уж цепляться в такой день к прохожему и просить у него подаяние — и вовсе дело гиблое. В такой колочий, ядерный мороз ни один здравомыслящий человек не захочет лишний раз останавливаться на ледяном ветру, свищущем в мрачных каньонах улиц, и рыться в карманах в поисках ломаного гроша. В такое утро, которое какой-нибудь вальяжный банкир назвал бы «ясным и свежим», бедняк не имеет права испытывать голод или нуждаться в мелочи на проезд. Бедняки созданы для теплых солнечных дней, когда даже тайный садист и тот остановится, чтобы бросить птичкам горсть хлебных крошек.

В такой вот морозный день, отобрав для пущей важности пачку образцов и наперед зная, что заказ получить мне не светит, я, снедаемый всепоглощающей жаждой общения, отправился к одному из клиентов моего отца.

Был, в частности, один тип, которому в таких случаях я всегда оказывал предпочтение, потому что с ним день мог закончиться, да обычно и заканчивался, самым неожиданным образом. Плюс ко всему, тип этот редко когда заказывал костюмы, а если и заказывал, то годами тянул с оплатой. Однако же клиент есть клиент. Папаше я обычно вкручивал, что иду к Джону Стаймеру — так его звали, — чтобы

уговорить его заказать фрак, который, по нашему общему убеждению, все равно рано или поздно ему понадобится. (Этот Стаймер нам все уши прожужжал, уверяя, что когда-нибудь он станет судьей.)

О чем я никогда не оповещал отца, так это о существовании наших отнюдь не портновских бесед с этим типом.

— Здорово! Зачем пожаловал? — Так он меня обычно приветствовал. — Должно быть, вы там в своем ателье все с ума посходили, если решили, что мне понадобился новый костюм. Я и за старый-то еще не расплатился. Сколько уж — лет пять будет?

Он сидел, зарывшись носом в кипу бумаг, и лишь едва приподнял голову. Из-за его извечной привычки пускать ветры — даже в присутствии стенографистки — в кабинете стояла страшная вонь. Еще он постоянно ковырял в носу. В остальном же — внешне то бишь — он выглядел как любой среднестатистический «господин-гражданин-товарищ». Адвокат как адвокат.

— Ну, что почитываешь? — щебечет он, не переставая прокладывать ходы в лабиринте юридических документов, и, прежде чем я успеваю ответить, присовокупляет: — Ты не мог бы подождать за дверью? У меня тут такой завал. Только смотри не уходи... Я хочу с тобой почирикать. — С этими словами он лезет в карман и достает долларовую купюру. — Вот... походи пока выпей кофе. И возвращайся где-нибудь через часок... Пообедаем вместе, ладно?

В приемной с полдюжины клиентов дожидаются, когда он окажет им свое благосклонное внимание. Он каждого просит чуть-чуть подождать. Бывает, они просиживают там целый день.

По пути в кафетерий я размениваю доллар и покупаю газету. После просмотра новостей у меня всегда появляется этакое надчувственное ощущение, будто я попал на другую планету. К тому же мне надо поточить когти для словесных баталий с Джоном Стаймером.

Просматривая газету, я начинаю размышлять о главной проблеме Стаймера. *Мастурбация!* Вот уже сколько

Миллер Г.

М 60 Нексус : роман / Генри Миллер ; пер. с англ. Л. Житковой. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. — 480 с. — (Азбука Premium).

ISBN 978-5-389-12414-1

Генри Миллер — виднейший представитель экспериментального направления в американской прозе XX века, дерзкий новатор, чьи лучшие произведения долгое время находились под запретом на его родине, мастер исповедально-автобиографического жанра. Скандальную славу принесла ему «Парижская трилогия» — «Тропик Рака», «Черная весна», «Тропик Козерога»; эти книги шли к широкому читателю десятилетиями, преодолевая судебные запреты и цензурные рогатки. Следующим по масштабности сочинением Миллера явилась трилогия «Распятие розы», начатая романом «Сексус», продолженная «Плексусом» и оконченная «Нексусом». Да, прежде эти книги шокировали, но теперь, когда скандал давно утих, осталась сила слова, сила подлинного чувства, сила прозрения, сила огромного таланта. В романе, ставшем последним крупным произведением Миллера, современный классик с новым задором исследует любимые темы: друзья и люди как живые книги, Достоевский, Гамсун, Рембо, живопись, критика общества потребления, противопоставление США и Европы, любовь и искусство накануне отъезда в Париж...

УДК 821.111(73)

ББК 84(7Сое)-44

Литературно-художественное издание

ГЕНРИ МИЛЛЕР

НЕКСУС

Ответственный редактор Александр Гузман
Редактор Елена Калявина
Художественный редактор Илья Кучма
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Елены Долгиной
Корректоры Маргарита Ахметова, Ксения Казак
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 17.05.2017. Формат издания 84 × 108^{1/32}.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 25,2. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

18+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах: www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



YAUM2044701R